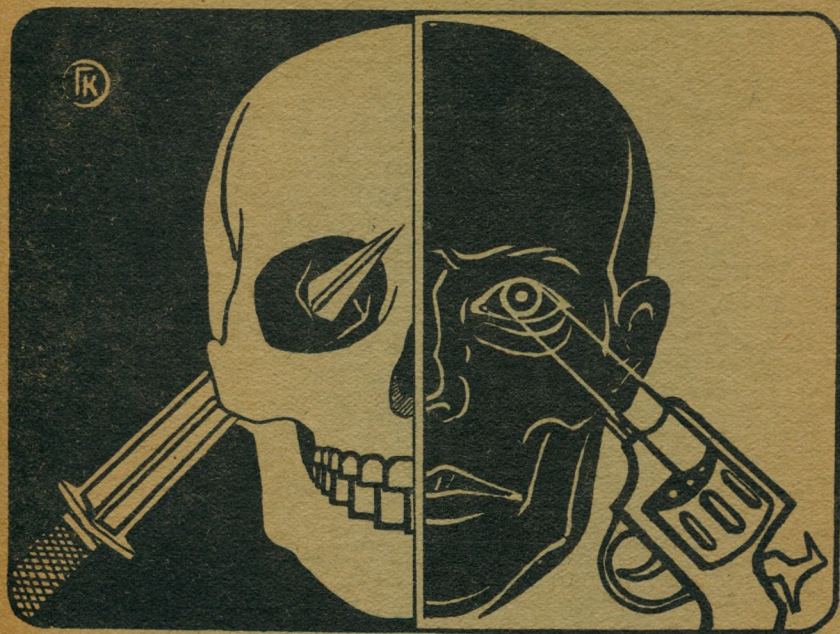


А. КРУЧЕНЫХ

НА БОРЬБУ С ХУЛИГАНСТВОМ



В ЛИТЕРАТУРЕ

ИЗДАНИЕ АВТОРА

МОСКВА 1926 г.

А. КРУЧЕНЫХ

НА БОРЬБУ С ХУЛИГАНСТВОМ В ЛИТЕРАТУРЕ

1. „Цемент“ Ф. Гладкова
2. Еще певец хулиганства (И. Садофьев)
3. Л. Сосновский и поздняя тревога
4. Прodelки есенистов
5. „Дунька-Рубиха“

— :: —

На обложке — синтетическое изображение хулигана
Обложка и рисунок Густава Клуциса

— :: —

ПРОДУКЦИЯ № 140

Главлит № 71209.

Тираж 5.000 экз.

Тип. изд-ва „Мотор“ Мосавтоклуба ЦК ПСТР Б. Дмитровка, 13,8

Оправдание изнасилования или

Ф. Гладков на страже чубаровских интересов.

За последние месяцы роман Гладкова „Цемент“ не сходит со страниц прессы. Критиковать „Цемент“—стало почти ремеслом.

Тем удивительнее, что ни одному „критику“ до сих пор не пришло в голову сопоставить некоторые особенности этого романа с назревшим в настоящее время „хулиганским“ направлением среди части рабочих и молодняка.

В самом деле, чем характеризуется хулиганство, вообще, и современное хулиганство в частности?—Полным пренебрежением к обществу и к отдельному человеку во всех его проявлениях, наплевательством, циничным неуважением чужого достоинства и злоупотреблением „хлесткими“ словечками. Я говорю о „хулиганстве“ в его „неуголовном“ проявлении. Ибо дальше неуважение прорастает в насилие, в уголовно-наказуемые деяния. Но начало всего—наплевательство.

Многие и многие критики отмечали в „Цементе“ сугубую небрежность языка, „неуважение“ к синтаксису, а за-частую, и к смыслу в „образных“ и витиеватых фразах.

Ухарство выражений, вроде:

— „Помру, а завод дербалызну“ — (в смысле: пушу в ход? Но обычное значение этого слова—„разобью вдребезги“, „выпью“).

— „Зима урежет нас на ять“ (на ять обычно употребляется в смысле похвалы: „сделал на ять“—хорошо. „Парень на ять“—отличный).

— „Ты почему зря береги себя и Нюрочку“... (,почему зря“—сломя голову. Оригинальный, но опасный способ что-либо и кого либо беречь!).

Далее, на той же странице, идут „лихие“ словечки, вроде: „не лопнет кишка — догромыхаем“, „капут-алаур“, „наша банда тебе на течение время—за мужа“, „гарнизуй хорошую свору“ и т. д. до бесконечности.

Не напоминает ли этот стиль до полной индентичности лихой блатной хулиганский жаргон современных Чубаровских героев? Не правда ли, сходство удивительное? На таком шпановском языке объясняются у Гладкова квалифицированные рабочие.

Самая сознательная работница, Даша, говорит так: — „Зашилась, товарищ Глеб. Меня уже нет дома— амба!“.

Даже „напостовцы“ поразились:

„Уличный язык шпаны Гладков прилепил к работнице Даше, которая должна строить новый быт. Гладков... говорит не рабочим языком“. („На литературном посту“ № 5—6).

Давно отмечено, что у шпаны особенно ярко замечается, наряду с циничным ухарством словечек, тяга к бульварно-романтическому пафосу, к олеографической пышности и превыспренности во всем, что касается „любвей“.

И тут опять неожиданное и удивительное совпадение!

Стоит Гладкову заговорить на эту тему, как оказывается, что

„горы были не хребты в камнях и скалах, но густой копотный дым; а море в безбрежном вздыблении — не море, а лазурная бездна, и они (влюбленные) здесь на взгорье, над заводом и вместе с заводом, на осколке планеты, под бездной и над бездной, в неошутимом полете в бесконечность“.

„Сердце обожглось болью и яростью“. „И волна невыразимой любви к ней потрясла его болью. Он обхватил ее дрожащими руками и задыхаясь, борясь со слезами, застонал от ярости бессилия и нежности к ней“...

Бездны, обоженные яростью сердца, волнение крови, невыразимые любви—все это из достолюбезного шпане „несчастливого милорда“ и „графа Амори“.

Все это—словно рассчитано на бульварную аудиторию, на читателя, получающего культурное воспитание на перлах пивной цыганской романтики.

Это—со стороны языка. Со стороны же „содержания“ дело обстоит гораздо серьезнее и хуже.

Начнем по порядку:

Даша—главная героиня „Цемент“, образцовая и идеальная женщина,—оказывается весьма твердо усвоила те самые „не мещанские“ взгляды на половой вопрос, с которыми тщетно борются т.т. Семашко, Сосновский, Сольц и др.

Вот как об этом рассказывает сама Даша своему мужу:

„Привяжется к ней эдакий дядя с угарными глазами, не уходит в горы. Скажет из сердца:

— „Не могу уйти без тебя, Даша... Не хочу быть диким зверем (!) в лесу. Приласкай меня для последнего часу... Через тебя не страшны никакие страхи...

Правда, были минуты, когда хмелела, но это была ее жертва. Чем эта жертва была больше ее жизни? А этот миг насыщал человека силой и бесстрашием“.

Дашей остались бы довольны те рьяные попиратели мещанства, что крокт женщину матом за отказ „насытить их страсти“.

Даша—идеал для Кореньковых (а в дальнейшем—не для Чубаровских ли молодых)?

Но чубаровщина нашла совсем уже точное отображение в лице предисполкома „очень замечательного и редкого работника“ (по определению Даши, а следовательно, и автора),—тов. Бадина.

Бадин—профессиональный насильник (о других его „заслугах“ в романе сказано мало!) Покушался, и достаточно серьезно, на ту же Дашу (впрочем, в тот же день

отдавшуюся ему добровольно!) и по всем правилам изнасилованный тов. Полю Мехову—завженотделом.

„Не успела отпустить рук: страшной тяжестью он обрушился на кровать и придавил ее к подушке. — Молчи, Полячек, молчи, молчи!

Она задыхалась от его непереносно тяжелого тела, от пота и дурманного запаха спирта. Не боролась, раздавленная тьмою,—не могла бороться: зачем, когда это было неизбежно и неотвратно?

... Она лежала неподвижно, вся голая и раздавленная. Рубашка смята в мокрый комок выше груди и смердила потом и еще каким-то тошнотным запахом, которого раньше не знала“.

Противно, не правда ли? Если дать прочесть эти строки любой изнасилованной хулиганами женщине—она закричала бы от ужаса и отвращения, узнавая свои собственные ощущения.

И еще ужасная и совпадающая подробность—Поля Мехова—девушка, целомудренная и чистая.

И этот насильник Бадьин, возведенный в герои („замечательный редкий работник“), так и остается безнаказанным до конца романа, хотя товарищи по работе знают о его „подвигах“. Мало того, можно быть уверенным, что в расчеты Гладкова отнюдь не входило „качать“ такого симпатичного парня.

И это в книге, рекомендованной для массовых городских библиотек и „допущенной Государственным Ученым Советом для школьных библиотек для старших групп второй ступени“.

Как после этого требовать от молодежи уважения к женщине-человеку, как бороться против чубаровщины в комсомоле и среди беспартийного молодняка, когда подобные, „рекомендованные и одобренные“ безобразия преподносятся ей для поучительного чтения.

Это место романа необходимо изменить, ибо книга очень разрекомендована и проникла в широкие массы—а следовательно вред от подобной „насильнической“ проповеди может быть огромен.

Никакие проповеди „воздержания и доброго поведения“ не помогут, пока у подрастающего поколения будет в руках подобное „агитационное“ произведение.

Ведь это буквально—проповедь насилия и разгула. Если „Государственный Ученый Совет“ пропустил этот кошмарный ляпсус Гладкова, то может быть хоть „Особая комиссия по борьбе с хулиганством“ спохватится!

О чубаровских певцах и идеологах.

В настоящее время критика уже спохватилась в отношении Есенина и есенины. Одна за другой появляются статьи о губительном влиянии Есенинских „хулиганских“ произведений на современную молодежь. Но, хлопотавшись с Есениным, критики еще не добрались до других идеологов чубаровщины. А их не так уж мало, и занимают они достаточно видные литературные и общественные посты.

В частности, Илья Садофьев, о котором я хочу поговорить особо, до последнего времени числился „пролетарским поэтом“ и состоит председателем Ленинградского союза поэтов...

Скажите, пожалуйста, какой „чубаровец“ откажется подписаться под следующими выразительнейшими строчками: (из книги И. Садофьева „Простей простого“, изд. „Недра“ 1926 г.)

Не гляди так больно грозно,
Не подначивай, прохвост!
Утекай, пока не поздно,
Коль не хочешь на погост.

..Только знают жирные затылки
Где пропью последние гроши,
Не за то ль вчера бутылкой
Кровососу голову расшиб?

Что ты бельмы пялишь строго?
Или думаешь боюсь!

Не теперь пугать острогом
Разухабистую Русь...

Кто о чем, а Садофьев поет хулигана, выкинув
флаг: шпана—до кучи!

Угадать бы, с кем мне по дороге,
Да бродяжью шайку сколотить,
Насмотрелся б месяц круторогий
На проказы на моем пути!

И это „всемирный товарищ-вестник мировой красо-
ты“, „лучший цветок труда“—как уверяет критика (см.
Борис Гусман „Сто поэтов“).

Хоть бы шла босяцкая орава
Вызволять заплеванную Русь,
А не то я горькою отравой
В кабаке до света захлебнусь.

— — —
По забору тени колыхаются
У забора—перекрестный крик:
— Ну, доколе же я буду маяться...
— Будешь хныкать, размалюю лик!

— — —
Не всегда же тренькать на гитаре
И гулять пропойцам до зари...

— — —
Есть народ отчаянный и грубый,
Есть надежные большевики (!!)
Мне с такими будет по дороге
Я охочь по шеям колотить,
Чтобы вечно месяц круторогий
Веселился на моем пути,..

„Босяцкую ораву“ Садофьев приравнивает к „грубым“
большевикам, считая главным признаком последних, оче-
видно, „охоту колотить по шеям“ и „размалевывать лики“.

Даже в белогвардейской прессе теперь пишут умнее
о „надежных большевиках“, а „цветок труда“ не стесня-
ется. Вот его „лозунги“ по женскому вопросу:

Только место мокрое останется
Коли стукну курву по башке!

(См. о том же у „мэтра“ Есенина:
„Пей со мной, паршивая сука!“)

Садофьев даже решил написать „историю большевика“.
Вот как рождается он:

Жизнь глупа и неказиста...
Рассказать и ты поймешь
Как плодятся сицилисты.

А вот он подробно рассказывает:

Голоси протяжнее, гармонийка,
Озорней орите, босяки!
Не смотрю на жизнь я с подоконника,
Не таюсь в потемках воровски.

Садофьев зовет в самую „гущу жизни“:

Побывать у чорта на куличках
Песни петь, озоровать...

Мне в бою сворачивать бы скулы...

Не с того ль мне так понятна вечером
Поножовщина у кабаков.

Под гармонику ребятам с девками
Веселей валандаться в ночи,
Матерщиной, песнями с припевками
Людная окраина звучит.

По мнению Садофьева—такими путями приходят люди к „сицилизму“ (стр. 27). По нашему мнению, такие пути ведут прямо в отделение милиции!..

Но вот уже совсем точное указание „чубаровцам“.

В стихотворении „Слушай“ (стр. 80 „Антология — поэты наших дней“ В. С. П. 1924 г.), черным по белому, напечатан следующий „наказ“ Садофьева красноармейцу. (Идут красноармейцы в походе. Какой-то „веселый малый“ предлагает им зайти отдохнуть, выпить и резвлечься с „девочками“. В ответ на это, Садофьев дает следующий „гигиенический совет“):

Людская слабость всем знакома,
Магнитно тянет торный путь...
--- Эй, слушай голос военкома,
Чтобы с дороги не свернуть!

А если жгуч избыток силы
И ждать возлюбленной не в мочь,
То всенародно изнасилуй
Его изнеженную дочь!

Тогда поймет вселый малый,
Крепка ль железная узда
И горячо ль запылихала
Пятиконечная звезда.

Кажется—комментарии излишни! Все ясно! Впрочем, не все, конечно, ибо из текста получается, что изнасиловать поэт приглашает дочь военкома, а не „веселого малого“, ну да это уж от малограмотности!

Во всяком случае способ утверждения пятиконечной звезды воистину чубаровский. И нет ничего удивительного в том, что в сборнике „Простей простого“, из которого взяты все первые цитаты, приглашение к изнасилуваню в стихотворении „Слушай“ выкинуто. Правда, в таком виде стихотворение совершенно бессмысленно и выпущенные строчки зияют дырой—но хорошо хоть и то, что цензура, providимому, слегка приоткрыла глаза!

Весь первый отдел книжки Садофьева может послужить справочником любому хулигану на предмет самооправдания перед нарсудом во всяких сотворенных дебошах.

Правда, дальше в отделе „Индустриальная свирель“, Садофьев пылко объясняется заводу в любви, но из песни слова не выкинешь, и начинается книжка такой ухарской хулиганщиной, что меркнут перед ней не только все последующие строки, но даже стыдливо переворачивается в гробу сам

...разбойник и хам

И по крови степной конокрад

Есенин. Несомненно, Садофьев в этом смысле с истинно хулиганской наглостью переплюнул своего „мэтра“, ибо даже Есенин скромно констатировал, что

Много девушек я перещупал
Много женщин в углах прижимал.

Но к изнасилованию, да еще „всенародному“, не отважился призывать.

А Садофьев докатился!

Ничего удивительного в том, что после подобных „агиток“, хулиганство растет и множится.

Интересует нас только один вопрос—о чем именно думали издатели Садофьевских перлов, выпуская подобные „руководства для начинающих хулиганов“ в 1926 г. ценою 1 р. 25 к. за экземпляр?

Впрочем, „наплеватьство“ и разгильдяйство в очень близком родстве с хулиганством искони состоит, и вопрос наш, может быть, наивен?!

Еще о борьбе с хулиганством.

(Письмо в редакцию).

Можно только приветствовать появление в „Правде“ (от 19 сентября с. г.) статьи Л. Сосновского: „Развенчайте хулиганство“. Несомненно, верна мысль о связи есенинского „литературного“ (якобы) хулиганства с подвигами бандитов Чубаровых переулков. Несомненно, нужна решительная борьба не только с насильниками, но и с их идеологами и певцами.

Плохо только одно: „у нас всегда так. Надо какому-нибудь злу проявиться в очень больших дозах, чтобы на него обратили внимание и им занялись серьезно“, — пишет тов. Сосновский и пишет особенно верно. Даже сам тов. Сосновский изволил обратить свое внимание на истинный смысл есенинской „лирики“ только теперь. До сих пор Сосновский искал упадочников от литературы в совершенно противоположном есенинщине лагере.

После этого естественной становится маленькая ошибка тов. Сосновского, утверждающего, что „уже вышел первый сборничек статей против есенинщины“... Не первый, тов. Сосновский. Оставляя в стороне ряд моих книжек, вышедших в свет сразу же после смерти С. Есенина и в самый разгар „кампании“ по причтению его к лику „великих национальных поэтов“ и классиков госиздатовской литературы,—книжек как раз решительно разоблачавших подлинное социально-литературное лицо самодубийцы, я позволю себе сослаться хотя бы на мою статью — „Псевдо-крестьянская поэзия“, написанную до смерти Есенина и появившуюся в мае этого года в сборнике Пролеткульта — „На путях искусства“. Там сказанное тов. Сосновским в его последней статье изложено в нескольких строках, достаточно выразительных:

— „Да что вы, оглохли? Не слышите? А Госиздат и Воронский рады: как не поощрять кампанейского *) поэта. Скорее! На верже его! Елизаветинским шрифтом. Цена 1 рубль (т.-е. 1¹/₂ пуда муки). Лицом к деревне! К Европе!

„А еще удивляются, что в деревне хулиганство растет да множится, возглавляемое и руководимое кулаками. Еще бы... почитатели „национального поэта“ лозунги „в жизнь проводят“ (Стр. 154—5).

Не для обвинения тов. Сосновского в плагиате или замалчивании меня, первым выступившего против Есенина, я пишу это. Но для того, чтобы спросить, а не повинен ли и сам тов. Сосновский в том, что стихи хулиганов тиснению на верже Гизом предаются? До сих пор тов. Сосновским возбранялось только издание Гизом „Лефа“.

Я хотел бы констатировать, что „заумники, и „лефы“ до тов. Сосновского подняли борьбу с есенинщиной. Тов. же Сосновский только теперь пришел им на помощь. И на том спасибо. Лучше поздно, чем никогда.

А. Крученых.

*) Выше этого места мною цитируются строчки Есенина о „литературных вечерах“ в обществе бандитов и проституток.

Проделки есенистов.

В критической литературе о Есенине (мы говорим пока только о восторженной критике) наблюдается поразительный разнбой. На страницах одного и того же журнала приходится встречать рядом с утверждением, что Есенин был прекрасным революционным поэтом,— утверждение, что Есенин был прекрасным поэтом, но, к сожалению, бесконечно далеким от революции. Во всяком случае, критики твердо уверены, что Есенин был прекрасным поэтом. Естественно, что всякое возражение, даже всякое сомнение, даже всякое — самое скромное — желание проверить это положение, вызывает бешеный отпор со стороны неумеренных поклонников Есенина и есенизма.

В скобках—несколько слов о том, что такое есенизм; это своего рода миросозерцание, легко укладываемое в несколько лозунгов:

— Все, что писал и делал Есенин — хорошо.

— Розовые очки при рассмотрении жизни и поэзии Есенина совершенно обязательны.

— Сомневаться в абсолютной ценности каждого жеста Есенина—есть смертный грех.

— Шествуй за Есениным!

Вот, примерно, и все.

Одним из первых усомнившихся был я. Соответственная кара обрушилась на меня немедленно. Уже в первых рецензиях на мои книжки о Есенине — заскользила исподтишка хитренькая инсинуация, вначале робко закутанная в туман намеков и недоговоренностей и, чем дальше, тем более откровенно показывалась уже ничем не завуалированная клевета. Поклонники Есенина не стеснялись в средствах.

Меня упрекают в чрезмерной резкости тона. Не отрицаю, что толстожурнальная и безформенная каша приличности никогда не попадала в мои писания. Но полагаю, что моя резкость никогда не переходила за пределы литературы. Я никогда не стремился к тому, чтобы упо-

требить в той или иной статье максимальное количество ругательства. Не могу сказать того же про моих рецензентов и анти-критиков. Они решили, что если Крученых, мол, не особенно стесняется с есенистами, то с ним можно совершенно перестать стесняться: крой во всю, он выдержит!

И кроют.

„Ориентируясь дикими обложками на читателя—простака, просвещающегося через газетные киоски, автор к бульварной внешности книжки присоединил и бульварное содержание“ (В. Красильников. Вокруг Есенина, Книгоноша № 22).

Когда обвиняешь критика в бульварности, следует, хотя бы, попытаться это доказать. Но В. Красильникову некогда возиться с доказательствами— он доругивается:

„С каждым номером продукции оно (содержание моих книжек А. К.) становится все более развязной расправой поэта-заумника с умершим талантом: Если $1\frac{1}{2}$ (?) книги— „Есенин и Москва Кабацкая“ Крученых заполнил перепечаткой чужих рецензий и разрешил себе только робкую заметку о заумном языке, то в „Чорной тайне“ он безапелляционно заявляет „только... методом, как мы наметили в настоящей статье, можно объяснить темные стороны творчества Есенина“... Не надо доверять надменному авторитету Крученых-Белинского он привел его... к выдумке двух новых заумностей: „Чор-человек“ и „тоск-ливец“.

Кстати о „зауми“. Возмутительно, конечно, что я в статье о „Кумире“ непочтительно употребляю привычные для меня заумные слова, но еще более возмутительно приводить мои собственные, и не так уж заумные стихи, приписывая их Есенину.

Так, в книжке „О Сергее Есенине“ (изд. „Огонек“) Анатолий Мариенгоф рассказывает о том, что Новицкому Есенин писал в письмах следующее:

Утомилась долго бегая
Моя вороха пеленок,
Слышит кто-то как цыпленок

Тонко, жалобно пищать
Пить—пить...

и т. д. При чем из текста нигде не видно, что стихи эти—не Есениным писаны. И не указано, что они—из моей поэмы „Пустынники“ изд. 1913 года!..

Красильникову кажется, что продажа моих книг у газетчиков кладет на них неизгладимую печать позора. Да и не ему одному это кажется: К. Локс в рецензии, помещенной в № 4 журнала „Печать и Революция“,—тоже укоризненно покачивает головой в сторону моих книг: „Продаются у газетчиков“. И по мнению обоих критиков оказывается, что книги, находящиеся в киосках, стремятся „поразить воображение былых читателей „Нат Пинкертон“ и ориентируются на читателя-простака, просвещающегося через газетные киоски.

На месте издательств „Госиздат“ (как раз там печатается „Книгоноша“, „Печать и Революция“ и др.), „ЗИФ“ и проч., я бы обиделся: книги этих издательств мы видим постоянно в газетных киосках. Повидимому, эти издательства полагали через них приблизить книгу к массовому читателю. А оказывается—они рассчитывали на простаков и поклонников „Ната Пинкертон“.

Мы намеренно дали такую длинную выписку из рецензии В. Красильникова: эта рецензия является блестящим примером голословности. Содержание моих книг, по мнению В. Красильникова—бульварно. Это с одной стороны. С другой стороны—половина книги представляет из себя выписки из „чужих рецензий“. Что же, стало быть эти рецензии бульварны?—Ах, помилуйте, как же можно, да ничегошеньки подобного: рецензии самые почтенные, и цитаты из них что ни на есть самые умнейшие, а вот тем не менее однако.. Вот какая путаница царит в умах некоторых рецензентов! Был еще один подобный случай: некий критик (из жур. „Новые Мир“), уверял, что я все свои мысли, попросту выражаясь, стянул у Троцкого. Дальше говорится, что Троцкий целиком прав, а я целиком не прав. Как это получилось,—одному Луначарскому

ведомо! Кстати еще: моя книга против Есенина („Драма Есенина“) появилась до статьи Троцкого!..

Критики и воспоминатели в подтасовке и искажении фактов перелезли всякий предел. Так, например, Ив. Грузинов в статье „Есенин“ („Сергей Александрович Есенин“ Воспоминания, Сборник ГИЗ. 1926) совершенно неверно освещает мою встречу с Есениным, ту самую, воспоминанием о которой осталась запись в моем альбоме:

—„Крученных перекрутил литературу“ и др.

Ив. Грузинов приписывает Есенину резкие слова по моему адресу, слова, которые при той встрече не были говорены и никогда в другое время мне их слышать не доводилось. Пусть это „сочинение“ останется на совести Ив. Грузинова.

Вообще, сборник „Сергей Александрович Есенин“ далеко не отличается точностью данных о жизни покойного поэта. В предисловии редакция обещает, что читатель в книге найдет строго проверенные факты—и обещание остается невыполненным. Напр., в одной только статье Старцева очевидцы описываемых им событий нашли около десятка фактических ошибок. В другом месте сборника „Черный человек“ цитируется дважды не точно и т. д. и т. д. Надеемся, что впоследствии об этих ошибках будет доведено до сведения читателя: всякие воспоминания ценны, пока они не искажают фактов.

Критические замечания Валентины Дынник („Из литературы о Есенине Красная Новь“ № 6) о моих книгах не дают никакой почвы для размышлений и возражений: они очень кратки, очень голословны и, что самое важное, очень неубедительны—опять „книги хорошо продаются“, „непочтительный тон“ „смердяковщина“ и проч.

Подитоживая все, что говорят „критики о критике“, все, что касается моих книг о Есенине,—можно сказать только одно. Перед критикой стояла задача во что бы то ни стало и лютыми средствами возвеличить Есенина и обругать меня. Они считали свою цель достаточно почтенной, чтобы, по их мнению, она оправдывала

средства. Результат таков: Есенин похвален, я обруган, что и требовалось. Насколько обоснованы выводы, насколько точны выписки из моих книг—этим никто из критиков не интересовался!..

К счастью, в последнее время есенисты умолкают и раздаются здоровые голоса.

Вот что пишет Карл Радек в статье „Бездомные Люди“ („Правда“ № 136 от 16 июня 1926):

„Есенин умер, ибо ему не для чего было жить. Он вышел из деревни, потерял с ней связь, но не пустил никаких корней в городе. Нельзя пускать корни в асфальт. А он в городе не знал ничего другого, кроме асфальта и кабака. Он пел, как поет птица. Связи с обществом у него не было, он пел не для него. Он пел потому, что ему хотелось радовать себя, ловить самок. И, когда, наконец, это ему надоело, он перестал петь“.

Так, в июне месяце, на страницах руководящей газеты говорится несколько в другом освещении, но то же самое, что уже вскоре после смерти Есенина утверждал я в своих книгах „Гибель Есенина“, „Есенин и Москва Кабацкая“, „Черная тайна Есенина“ и др.—в тех самых книгах, которые подвергались единодушному „разносу“ со стороны ретивых есенистов.

И вот еще интересные строки из статьи тов. Радека: (там, где он упоминает о том, что после смерти Есенина многие писатели укоризненно кивали головами:—„смотрите, литература—нежный цветок“!) Карл Радек возражает этим укорителям: „Бросьте! С Есениным мы носились, как с настоящим сокровищем“!

Наконец, о „самоубийственных“ тенденциях стихов Есенина. Уже в первой книге о нем (в „Драме Есенина“), я указывал на опасность для молодых поэтов и писателей поддаваться влиянию Есенина. Ряд самоубийств молодых поэтов подтвердил мое мнение. И теперь многие, в том числе и Радек, признают, что „есенинщина“ опасна для молодежи.

Приведем еще цитату из статьи И. Бобрышева: (в „Комсомолъск. Правде“ от 10 июня 1926 г.):

„Есенинщина имсет место в среде тех, кто ушел из деревни и не пришел (или не дошел) к рабочему классу, в среде городской мелкобуржуазной молодежи, и в среде тех, кто не стоит в рядах строителей нового общества, а мечется без пути и дороги, не понимая „куда несет нас рок событий“.

Наконец-то признали, что Есенин, вместе со всеми своими подражателями, метался без пути и дороги!

Впрочем, конечно, многие еще путают и мечутся в своих суждениях о Есенине.

Так например, Лелевич в своей книге „Сергей Есенин“ (Гомельский Рабочий, 1926) возражает мне следующее:

„Очень характерно замечание Крученных — „не приходится скрывать, что „советские“ стихи Есенина—самые слабые и самые бедные из его стихов“. С этим утверждением невозможно согласиться. Правда, перейдя к новому этапу творчества, порвав со всем своим прошлым, Есенин не мог сразу достигнуть той согласованности, которая ранее была оставлена ему вскормившим его многовековым укладом и ранними—самыми сильными литературными влияниями. Но зато в этих стихах чувствуется полное преодоление растрепанной и неумеренной образности, имажинизма, поворот от имажинизма и цыганщины к простоте и ясности пушкинского стиха и народной поэзии“.

В доказательство своего мнения, Лелевич приводит отрывки из „Песни о Великом походе“. Меся эти отрывки ни в чем не убеждают. Они сделаны, конечно, несложно, но едва ли эта простота—высокого качества. С моей точки зрения, частушечные ритмы „Песни о Великом походе“ достаточно слабы, благодаря своей подражательности. Если уж говорить о народной поэзии, то подлинные частушки производят гораздо более сильное впечатление. Следует отметить к чести Лелевича: он

является одним из немногих, чьи возражения мне—вполне в границах литературности.

Да и возражений у него против моих взглядов почти нет. Он нередко приходит к тем же выводам, к которым пришел в свое время и я. Он указывает и на отрыв Есенина от своего класса и на „бесплотное томление по миру иным“ и на целый ряд других недостатков есенинской поэзии.

Приведем теперь, в заключение, стихи памяти Есенина, в которых выдвигается ряд правильных суждений о жизни и творчестве Есенина. Я говорю о поэме Маяковского: „Сергею Есенину“.

Маяковский откровенно подчеркивает всю пагубность влияния Есенина на литературный молодежь:

Подражатели обрадовались:
бис!

Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.

И в противоположность самому Есенину, который заключил свое творчество безнадежными строчками:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей—

Маяковский целиком стоит на точке зрения жизни, борьбы и строительства. Он заканчивает свою поэму такими словами:

В этой жизни
умереть не трудно
Сделать жизнь
значительно трудней!

И, зная, что жизнь сделать нелегко, Маяковский всем чувством поэта, решительно осуждает отказ от дела жизни.

На фоне похоронного нытья, поэма Маяковского выделяется своим независимым и здоровым отношением к гибели Есенина. Для меня несомненно, что во взгляде на Есенина, правы Жаров, Маяковский и я, а не хвалители и плакуны.

Уже теперь проскальзывающие в критике верные мысли, со временем должны укрепиться и стать общезначимыми. Задача тех, у кого по глазам не плавает розовый, или какого-либо другого цвета, туман—вывести исследование творчества Есенина из тупика восторженных пристрастий.

Я полагаю, что настоящая работа является напоминанием о необходимости этого пути!

А. Крученых.

Июль 1926 г.

P. S.

Теперь, когда, даже в резолюциях Пленума МК по вопросу о Комсомеле стоит буквально: „Борьба с упадочностью, есенинщиной“ и т. д., я могу лишь сожалеть, что мои „обвинители“ так долго шли в разрез со здоровым смыслом и тем самым углубляли и заостряли то социальное зло, плоды которого нам приходится пожинать сейчас в виде буйного расцвета чубаровщины, разгильдяйства, всяческого хулиганства и упадочности.

Со своей стороны, я делал, что мог и что считал нужным для борьбы с этим злом, Зачинатели всегда гонимы.

Но рано или поздно—истина, выгнанная в дверь, влетит в окно!..

А. Крученых.

Москва, Октябрь 1926 года.

От „хулиганства“ к резолюции или от хулиганства— к чубаровщине.

В свое время нас, поэтов футуристов, обвиняли в хулиганстве, правда, чисто литературного характера. Развенчание общепризнанных литбожков, борьба против засилья „красивых слов“ и любовных тем и, наконец, введение в лексику грубо звучащих звуко-сочетаний „дыр—бул—щыл“ и др.—вот наши преступления.

Посетителям беззубых словоизвержений о „великом безликом“ и прочей мистической дребедени—мы, воспевавшие в простых и резких строках мощь растущих улиц, казались дебоширами и нарушителями общественной благопристойности. Но в наше время просто смешно вспоминать все эти исторические кликушества кисейных охранителей литературной невинности.

Наше дело сделано. Литература освобождена от цепей „традиций“ и мы спокойно идем по намеченному нами словесному пути.

Футуризм органически воспринял революцию и бодрая песня лефов сейчас звучит в унисон творческому темпу жизни.

Не то с имажинистами.

Типичные эпигоны—они восприняли от футуризма только метод—эпатаж—абсолютно не усвоив его революционного нутра. Отсюда—уход в самодовлеющие буйства, упоение матерщиной (к слову—никогда лефами не употреблявшейся, даже в качестве литературного приема), пафос хулиганства, романтика кабака и мордобитья.

„Хулиганство“ лефов—если только это слово может быть к нам с натяжкой применено—протест против застоя дореволюционной литературщины.

Хулиганство имажинистов — самоцель, единственное содержание убогого творчества последышей.

Результат на лицо. Лефы стоят на передовых постах литературного отряда созидателей нового быта как в области поэзии, драматургии и режиссуры, так и в области общественной.

Лефы первые поднимают знамя борьбы против уродливых форм имажинистических литературных выступлений. Лефы развенчивают упадочную есенинщину в литературе и в быту.

Лефы борются с разгильдяйством, беспочвенностью и наплевательством (см. фельетоны Маяковского в „Правде“ и „Известиях“, пьесы Третьякова, мои книги и статьи против есенинщины и хулиганства, революционные постановки Терентьева).

А разухабистый имажинизм, в лице своих „столпов“— Есенина, Мариенгофа, Грузинова и Шершневича, или с треском уходит в самоубийство (Есенин), или, наконец, вовсе сходит со сцены, тихо разлагаясь в навозную жижу сюсюкающего снобизма и лирического самоковыряния.

Последыши, вроде Садофьева, Орешина и прочих бесчисленных переписывателей есенинских образцов, окончательно добивают мертворожденную ублюдочную теорию „самодовлеющего образа“.

Имажинизм тихо и уныло скончался, оставив после себя неприятные следы разбитых носов и пивных бутылок, или выродился в откровенную идеологию поножовщины, чубаровщины и хулиганства.

Над первым—облегченный вздох и несколько взмахов метлы, против второго—уголовный кодекс и организация дружин по борьбе с хулиганством...

Вот короткий итог двух путей: лефов и имажинистов.

Революционный протест „лефов“, в свое время ошибочно принятый за „хулиганство“ близорукими критиками, привел к творческому расцвету на путях нового строительства.

Хулиганский дебош имажинизма—естественно окончился в петле самоубийцы и перед столом нарсуда.

О „началах“ суди по „концам“, по результатам, — таково непреложный исторический закон.

Цыплята любят, чтобы их считали по осени.

А. Крученых.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Роман „Дунька Рубиха“ — попытка изобразить женщину — Комарова без романтических прикрас-побрякушек: вскрыть патологически-будничную сторону убийства, со всеми отвратительными подробностями замывания пола, утапывания трупа в ящик из-под мыла и т. д. Дунька — отнюдь не „роковая женщина“ бульварного романа. Это — прозаическая скверная лукавая баба, „губящая“ своих сообщников-бандитов за „каратики“ и „рыжики“, зашитые в шубах. Совесть ее неспокойна с самого начала романа: хряск костей, случайно сорвавшегося с поезда парня, вызывает бред, выдающий ее мужу-бандиту. Выход один — новое убийство.

Дунькина слезливая песня перед убийством — только маскировка строго обдуманного плана бабы-притворщицы, скользящей в яму.

Сообщник — Гришка, следующий кандидат в мыльный подвальный ящик — спасается только благодаря аресту Дуньки.

Мещанская, бытовая, потная сторона бандитизма — вот что меня интересовало, когда я прорабатывал этот „уголовный роман“. Хулиганство, как таковое, не нашло еще отображения в моей словоплавильне, но его конечный этап — бандитизм, дал мне тему „Дуньки-Рубихи“.

А в т о р.

ДУНЬКА-РУБИХА.

Уголовный роман.

I.

В поезде едет Рубиха
тяжелый глаз,
белый подбородок.

Поезд зголодный
зверем дорог,
чуя добычу,
брюхо несет —

ра-ва-ща.
Ры-вы-щы!
На площадке Рубиха
глазом дерет:
— Миленький, тепленький,
солнышко в кудрях,
на губах кровь...
Ох загляделся как!—
С нижней ступеньки
ворохнулся под откос
паренек,
кости треск,
кости хруст,
дробь...
не знают пассажиры
какую шпалу
перепрыгнули!..
— Из под вагона затянул
кто-й тебя?
Ох, недогадливая,
за руках не удержала.
Расстроилась я!..—
.
Зверь усмирился,
чугунный устал,
на полустанции
отдых
три часа...
Сутки
сутулясь
ис-те-ка-а-а ают...
Лязг болтов.
Как моток
старых обоев
сворачивается путь.
Много раз,
сотни раз,
синий лес

из-за насыпей
приподнимался
и опускался,
Пыхтит
упаханное брюхо
узлового полустанка.
Поезда зык
с гулом обшарп,
сермяжки вагоны
застряли
в щель.
Прохор—лихач
— ватный буфет—
вагонной нудотцею
стоя в окно:
— Эх, экипаж неспешной,
задрючит нас
—растелефикация!
продувной вагонце,
костодав.
Тут бы на дутиках.
— Я вас катаю
на резвой!
Эх-ма,
Тетке в глаз!
Жонка, Дуняша, гляди!—
А из окна
чухломские метелки-ветлы
пятиверстной зевотой растя-
виснут в глаза. [нуты,
— Эх, замурошка-дорожка!
Втянула в тоску,
теткин кисель...
Ну-у-у, трохнулись,
про-о-о-дави тебя!—
...Плесенью станция
глаза вылупила,
известью поползла...

Красный петух семафора
хлопает по затылку,
расшвыривая по местам
узловых дежурных...

Дунька трудненко:

— Чтой-то в сон меня тя-
болотом [нет

илью липучей подбирается..

Марево

черные

муравьи

копошатся...—

Дунька в подушку,

в туман

канула...

II.

Рубиха дремлет

на низкой полке.

Прослоенный ватный зипун,
над головою шаль...

жестко...

полно сапог...

Проخور, затылком об полку,
спит,

сквозь сон

погладит Дунькину ногу...

полушелковые чулки,

сапожки с ушками

вздрагивают.

Глаз фонаря занавешен желт-

Дунька стонет [ком

на сером мешке:

— Ох, не души меня, Гриша!

Нет ни души кругом,

(отдушинка рта молода)!

Гришка-скокарь, третий!

Нет, Петя,

Петя третий,

Сеня четвертый

ох, перепутала!

Ох, сколько их!

Только я не душила

Утюгом легонько гладила,

Да я же любила

Я же жалела.

Скажи, Петенька,

ведь, правда жалела?..

...Ох, Проخور, Проخور,

пойдешь и ты прахом!

Родненький, прости!

Эх, да ведь не удушила,

легонько уморила,

а все лезут, вжуются,

между снами кажутся...

О-ох!—

Проخور спросонок

из под узла вывалился

бормотом:

— Дунька, ы!

Кого загубила?

Кого придушила?

Жена?..

Сам испугался.

Дуньку затряс:

— Что ты, что ты,

моя белуха?

Дунька, что ты клеплешь?

Проснись!

— Что трясешь меня?

Покою не даешь?

Бес!..

Открыла глаза:

— Проخور, чего пристал,

А?

Свят, свят, свят!..

Глаза испуганно кру-
лятся.
— Разбудить бы жонку
надобно.
Что ты несла?
Что за Петя?
Каков Гриша?
Кого убивала-морила, а?
Мерзнет баба со страху ноч-
а сме-е-ется [ного,
змеется
губами
ледяными
синими
— Ш-ш-ш-с!
Ишь, сумасшедший...
Я убивала,
Я?
Это я-то, я,
твоя Дунюшка
убивица?
Иль из-под вагона
что увидел?
Ох, дружок,
душно в дороге,
полки низки,
стекла да чашки
бренчат,
ну ее к ляду,
только расстроилась вся!..
Вот вернемся домой
хорошо в садочке:
близкое солнышко
поблескивают,
сыплет охрец.
Там
подвал
большой

хороший,
снеди всякой
полным-полнехонько!
Улыбкой по Прохору ла-
шарила, [зала,
засыпiała...
Прохор прокис:
— Я ж тебе говорил:
перенудься,
не езди
к старухе
в логово—
хуже будет!—

III.

Холод... свежинь...
Глаз приоткрыл
рабочий барак,
сверчки сторожей
жуют небесынь,
клокоча,
звучат—
жох,
цок!
Палисадник-платок
утыкан росистыми бархат-
цами.
Дунька сидит на заваленке
черной,
как гриб деревяной.
Свист...
Дунька скок вертячком.
— Заходите, Григорий Па-
— А где твой? [лыч!
— На базар пошел
позаране
масло закупать топленое
да сливочное...

Гришка глухо:
— Дуняшка,
Когда же можно?
— Тише ты... Да сегодня
в одиннадцать ночи.
Посвистишь тогда.
Муж до завтра уедет...
Ну чего ж ты уставился?
Бельма бестыжие
шилами из лица
по-вы-лезли...—
— Уу!
Всю тебя просверкаю!
Прокушу на всю жизнь!
Никому не отдам
ни одной завитушки!

Излюбилось сердце, кровью изошло,
Раздражает меня темная ночь,
Задрожали мои руки убивать,
Ляжет муж на подушку в черный гроб.
Разгуляется Рубихин топор,
Не блазни меня каратиками вор!
Харкнешь рыжиками прахом, хрыч,
Не ходи в подвал, собак не клич!..

Ох, и наскучило мне любить,
Ох, и губить надоело мне,
А живым мне не в мочь его отпустить,
Сам топор в мои ручки падает...
За что судьба меня сгубила
К восьмому гробу привела,
Позор Рубихе подарила,
Топор железный подала!..

Ох, помру я, бедная, в этот год;
похоронят Дунюшку под сугроб,
под сугроб меня заруют
в белый снег

У-ух, да эх,
покружиться не грех!.. —

Режь мою душу
сердце шилом коли!
— Ну уж и выпьешь, бес-
шенный!
Рано хозяином стал!
Погоди
до одиннадцати...
Прощевайте, Григорий Па-
лыч!..

И шопотом вслед:
— Кандидатик мой
тепленький,
язви тебя! —
И припрятавшись в тень
прикрывшись платком
замурлыкала:

Заплясала, пошла
помешанная:

Ши-та-та

Ши-та-та...

— А! Вот и муженек
дорогой!

Что принес в подарок
своей Дунечке?

Да не торопись
разворачивать,
чайку попей,
винца подлей.

Мое винцо
пьяное,
оно пьяное, кровавое...

Укорябнет за душу
нежное и сонное...

— Эх, задирушка,
хохочешь, дразнишь!
Может мужей других
ты поила таким вином?

— Что миленький,
что ты славненький!

— Уж не это ли вино
ты в подвале держишь
собак дразнишь?

Что то беспокойно
у нас —
землю роют псы
морды жалобно вверх—
завывают...

Всю ночь спать не дают...

— Что ты крупу мелешь?

Пей вино, не скули.

Устал должно..

— Ах, Дунька, Дунька
лукавица!

А не для Пстенки ли

бочка в подвале стоит
для того, что ку-у-да то
ха-ха! [уехал?

Дунька остужилась,
— Ох, не дразни меня
без толку!

Видишь—толку сухари
посыпать пироги,
видишь—пестик тяжел...
ну, чего щиплешься, как
Украшенье—бусинку [гусь.
на шею прилепил!

— Знаю, знаю
вожжа по тебе плачет!
— А-а!

Николи того не слышала
По мне вожжа,
по тебе тюрьма!
Откуда у тебя
червонцы-рыжики,
в шубу защиты каратики
полный сундук вспух?

— Это ж чужие,
на сохранку дадены,
сама знаешь!..

— Ну, не сердись...
я запаматовала,
нездорова ж я,
вот и в хозяйстве
все недосмотр!..

Отвернулась в тень
пошуршала.

— Ишь ты, вот и у тебя
копоть на вороте...

Точно копать!
На затылке сажа...
наклони, оботру!—

...Гых...

В пузырьчатом зеркале
пестик брысь
ноги врозь!...
Хляк

задержи мозг,
кол в поясницу
бежит мороз.
Насмешкой ежится кровь
через копчик
на зуб,
медячки в глазу...

Дзынь, зудеж,
стынь, студежь!

Беленится лицо
болесницейй
зоб

Выперр!..

А там
напевает в трактире
орган,
друг смоляной
подымает стакан..

Дунька молчит...

Стоймя крапивой
вз'ерошанной

приужахнулась,
а ведь не первой!
— И за что это всех
уколачиваю?..

Что это
под руку
безудержку
подкатывает...
Эх да... поздно...

Сударики-суженные,
сугробами
сумраком

проросли!..—

Усмехнулась я блок
передернулась.

IV.

Ох, и труд!
Изломаешь все руки
уминать сырое теплое тело
в ящик от мыла,
кровь замывать!

По шесту зари
молотки стучат
звучат...

А Дунька тихонько
шильцом
да коготочком
шарит в ящике...
с половицы мыльцем
да паклицей
хлюпкую пакость стирает..

Соком в височках стучит:

— Я свово да милого
из могилы вырыла,
вырыла, обмыла
глянула—зарыла!..—

Ох поскорее в подвал!

Потной
светлой лопатой
быстренько

глину рыхлит,
ящик сует

(Сквозь дверку
щель—
день
стань!)

Чулками
утопывала,
нашептывая:
— Ах ты, милый мерин,
лезь
туда же
под бочку дышать!
Ох, не заперла двери...
Ктой-то шумит на дворе?—
(Ты бы свою милого
из могилы вырыла...
...Ты не должна любить
Ох, не должна! [друго
Ты мертвяку тяжелым
обручена... словом
Выручу, обмою,
Погляжу, зарою...
Ну, каков ты милый стал,
неужели с тела спал?..
Долго спал —
спи, спи, спи!..)
Заступом глухо застукивала
Дунька топтала—
утаптывала:
— Семеро тут
восьмого ждут—
туп
туп
туп!..
Лопатой глухо
Дунька
пристукивала:
(Стеклышком ясь,
светышком—
в камень
день
день!)
— Ох, не очкнись!

Теплый тулуп
Мягок не груб
Меня не забудь—
бут, бут, бут!—
Любовников семеро тут
Восьмого мужа ждут!
(Зубами стук, стук!..)
Труп
туп
туп!—
И опять заскакала,
заегозила
утопывая..
Расплетается
коса рассыпчатая.
Ух, и тошно плясать,
коли-ежели знать
под ногой кто лежит
глиной давится!..
В зябкий рассвет
пошатнулась скрипучая
Дунька [дверь —
в ледышку,
в мел!
Проявился девятый
Гришка—муркун
кому—обещалась,
кого зазвала.
— Ага, топочешь!
Чего топочешь?
Свежую рыхлядь
затаптываешь?
— Ох, Гришка,
в душу кольнуло—
ты отколь?
— Одиночкой в подвале,
а дом пустой,
бурчит корыто на полу...

жена моя прочу-у-яла!
уже по соседям
ищут тебя!—
Дунька шопотком:
— Ты не знал?
люблю скакать
по ночам,
а тут потьма,
холодок
(щуп коготком—
ага,
ржавый топор!)
— А ты, Гришенька,
что так скоро?
Я ведь сказала—
в одиннадцатый!
Гришка глазом порск:
— Нет, ты скажи;
отчего у тебя платок
в грязи?—
— Что „скажи“ да „скажи“!
Не будь дурачком,
золотенький,—
жалею тебя!
Мое сердце не сарай
на запоре не держу.
Ах, мне запрету нет,
я все расскажу.
Милый... дурачок...
лучше не спра-а-шивай! —
Гришка глянул в упор:
— Убивица,
стерва!
Ищут тебя...
где мужья?—
Платок с клубничкой
крапинкой
тянет на себя.

Рубиха,
слабея,
смеется,
топор стяжелел
скользит за спиной.
Искосью Дунька к парню
прикланивается
— Кто мне говорил:
не руби, не губи
супружника.
Ты меня вразумляя...
пойдем, Гришенька...
тут плесенью тянет,
пойдем наверх!..—
Но как град,
пулемет,
тарабанит в дверь
Гришкина жена,—вопит:
— Где мой муж?
где Гриша?
живой-ли ты? —
Дунька дверь приоткрыла,
в щель косноязычит:
— Не бойся, голубушка,
не пришитый,
здесь он, твой Гришенька!
А мой дурень
запакован в ящик
киснет!—
— Что ты несешь!
Гришка, где ты?
В каком ящике?—
— Отстань, не вяжись!
Здесь я, здесь!
На бочке сижу! —
Даша расшатнулась:
— Ох, окаянная,
порешила его!

Ой, ратуйте! ..
Дробью по ступенькам
вдарила во двор.
Дунька к бочке прижалась,
рот рыбным
душным хватком:
— Кто довел, Гришенька?
Успокой меня,
Только скажи—не ты?
Я лягавых не боюсь,
только бы не через тебя,
Гришенька!
Ноги не держат меня
окаянную,
всю то жизнь трясухою,
над каждым маячила
мачихой,
скрытцею в пальцы
плакала...—
Дунька осела
вся пустырьем...
...Круги по болоту...
Замутилась кругом
народищем
улица вздулась ..
Свистки, словно соловьи
предсмертные,
по всему переулку
раздробляются...

V.

В подвале Дуньку застали
приутомленную
в Гришкиных белых руках.
Открыли ящик:
— Эх, да эх!—
и еще в рогоже!..
Народ котлом кипит!
А Дунька бледна, как

сухим языком [лысь,
суконкой поворачивает:
— Какой? Ванька?
Четвертый, седьмой?
Ух, спутала!..—
Вспенился рот,
Рубиха
скоробленной рыбой
на ящике рвется
— Дрз-з...—
Всем просверлил уши
близкий свист—Зы-ы-ы!
В подвале работа:
третий труп из земли
выкорчевывают,—
глаза глиной засыпаны
черною... — У-о-о-о-х!
Из толпы баба вывалилась
Голошенная:
— Мой! Убей бог, мой!—
На земь брякнулась.
— Муженек мой, горе-
мычненький!
Запихнула тебя
ведьма колотушная
Вот и глазеньки тебе
не закрыла!..—
Жарким привскоком:
— Ох сдохни,
стервячка...
Свист в дверях—врзи-и-и!..
— Именем закона
вы арестованы!
Ай!.. вой:—мой-то
— и мой! и мой!
Ой!..—Дуньку ведут—
Туп туп бут—
В Бутырки... затопали...

Книги А. Крученых

1925—26 г. г.

126. А. Крученых. — «Леф-агитки Маяковского, Асеева, Третьякова». М. 1925 г.
127. Его же. — «Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова, Леонова, Бабея, Ар. Веселого». М. 1925 г.
128. Его же. — «Записная книжка Велемира Хлебникова». М. 1925 г.
129. Его же. — «Язык Ленина». М. 1925 г.
130. Его же. — «Фонетика театра». 2-е изд. М. 1925 г.
131. Его же. — «Против попов и отшельников». М. 1925 г.
132. Его же. — Ванька-Каин и Сонька Маникюрщица.
133. Его же. — Календарь.
134. Его же. — Драма Есенина.
- 134а. Его же. — Гибель Есенина (5-е изд.).
135. Его же. — Есенин и Москва Кабацкая (3-е изд.).
136. Его же. — Чорная тайна Есенина.
137. Его же. — Лики Есенина.
138. Его же. — Новый Есенин.
139. Его же. — Псевдо-крестьянская поэзия.

Цена 30 коп.

